

КОНЦЕРТ НА КУХНЕ

Я уразумел, наконец: 6 марта 1966 года был исторический день. Мне, студенту, 19 лет, на два дня вырвался из Минска в Горск, наслаждался родным домом. Не знал, что вот-вот ВОЙДУ В ИСТОРИЮ.

В полдень с крыши катились солнечные капли, падали в синий снег. Под вечер каплю за каплей ловко подхватывал морозец, лепил сосульки. Когда стемнело, сосульки светились, как иллюминация. Я провел по ним указательным пальцем, они зазвенели. Со стороны улицы слышался хруст шагов, я пошел навстречу, к калитке. Я знал, кто к нам идет.

Наде было 38 лет, на четыре года меньше, чем моей маме. Они дружили с детства. Надя была незамужней, неизлечимая болезнь (сахарный диабет) сделала ее грузной, но не лишила девичьей смешливости, озорства. Я не верил ее рассказам о том, как она носила меня, маленького, на руках. Она воспринималась ровесницей, к ней не приставала приставка: тетка. Она была просто Надя. Иногда я звал ее по батюшке: Яковлевна.

Мама восхищалась ее голосом, памятью и утверждала, что "в Горске только Надя знает все наши песни". Сегодня я ходил к ней домой, просил надиктовать песен "на вечную память". Мама не была уверена, что Надя согласится: "На свадьбах и родинах теперь поют "Рябинушку" или "Подмосковные вечера", наши песни поют редко, позабыли. И Наде уже не до песен: больная, одинокая, брат тоже состарился, никак не женится. В ихней хате давно не поют." Однако Надя быстро поняла мою просьбу, легко согласилась.

Мы расположились у нас на кухне. Под потолком сияла голая лампочка, вокруг нее суетилась муха, проснувшаяся от зимнего сна. На табуретке за столом сидит Надя в "плюшке", в белом платочке, напротив — я с блокнотом и ручкой, сбоку, на лавке, устроилась мама. Надя, блеснув слезой, сообщила, что скоро умрет и что эти песни она слышала от своей мамы, а та — от своей. "Ну, то слухай, Толюнэц, раз тебе інтэрэсно", — сказала она, прикрыла ладошкой глаза, отыскала в памяти слова, быстро проговорила-проокала на полесском языке, богатом дифтонгами (жаль, дзя их передачи в русском и белорусском алфавитах отсутствуют буквы):

Ярка рутэнька, яра,
Блізко плота стояла,
На яе роса ўпала,
Молодая Надечка росу брала,
Росою ўмываласа,
Косою ўтыраласа,
Матэньку ...

Надя как споткнулась: "Ой, нэ так! Трэба: батэнька." И продолжила с певучей интонацией:

Батэнька пыталаса:
— Ой, батэньку ты мой родны,
Чы я буду такая,
Як каліна яркая?
— Ой, дытя мое роднэ,
Пока ты ў мэнэ будэш,
Як каліна цвысты будэш.
Як пойдэш до свэкорка,
То спадэ з тэбэ краса,
Як од сонэйка роса.

Последние строчки Надя уже пела. Так, наверно, ей лучше вспоминалось: и слова, и мама, и бабушка, и молодость, и несчастье с болезнью, и весна, и многое-многое... С песней легче жилось, даже плакалось веселее:

Ой, у городаы на прымолоды
Чорны ворон грачэ,
А по тебе, Надечка,
Твоя матэнька плачэ.

Расстегнув "плюшку", приспустив платочек, Надя пела для нас с мамой, а может, для себя, ибо большинство ее песен были свадебные, про Надечку:

Ой, позбырала Надечка
Дэвочок вэнка выты,
А сама села ў концы стола
З матэнькою гаворыты...

Наде приходилось петь разными голосами, меняя тональность, ритмику, поскольку свадебные песни походили на спектакли. Например, выпевание каравая. Девчата, стоя за порогом хаты (их называют "запорожцы"), поют:

Сванечка молодая,
Дай жэ нам коровая,
І сыра бэленького,
І вына молодэнького.

Сваха выкручивается, сие надо было петь по-иному, и чтобы получилось, Надя встала из-за стола, сняла "плюшку", руки поставила на бедра, стала похожа на дурашливую сваху:

Дэвочки-сэстроночки,
Я летом малая була,
Я пшэнца нэ жала,

Под копою лежала...

Девчата-запорожцы наступают, гнут свое:

Мутьш, сванечка, мутьш,
У хвартусе каравай крутыш.
Сванечка, моўчы, моўчы,
Бо запрэм просо тоўчы.
Нашэ просо рудое,
До тоўчэння твэрдое.

Но сваха — женщина не промах, мы с мамой видим, Надя по-актерски точно демонстрирует:

Дэвочки-сэстроночки,
Я ехала рокітою,
З ела сыр з Мыкітою,
А пэрэбег Мыколаец,
Одобраў короваец.

И не успели мы с мамой оценить хитрость свахи, как на наших глазах она перевоплотилась в развеселую плясунью, которая пошла кругами притоптывать по кухне, приплясывать полечку, припевать частушечку:

Ой, тэчэ рэчка-нэвэлічка —
Схочу й пэрэскочу.
Оддай мэнэ, моя матка,
За кого я хочу.
Оддала мэнэ маты
За кого хотела —
Шумыт-гудэ нагаечка
Коло мого тела.

Задышавшись, упав рядом с мамой на лавку, Надя сказала: "А перезвины один не споешь. Помоги, Маня." Они запели хором, как положено петь уезжающим родственникам невесты:

Мы, пэрэзвыны, поедэмо,
Тэбэ, сыротко, покінэмо.
А ты, мыленькі, гледы, гледы,
Коб вона босою нэ ходыла,
Коб соломою нэ топыла,
Коб рэшэтом воды нэ носыла...

“Не так, Маня! — неожиданно остановилась Надя. — Толік, напышы: коб горшком воды нэ носыла. Так лепш.” Она была права: с горшком поэтический образ заиграл. У Нади присутствовал художественный вкус, она чувствовала слово. Вот как в ее песне ублажали вольную птичку:

Насыпаў пшэнца
Аж до коленца,
Наліў водыцы,
Як з крыныцы.

Пропев куплет, Надя остановилась, секунду подумала, приказала мне: “Толік, напыши так: наліў водыцы аж под крыліцы.” Уточненный вариант был прекрасен своей поэтичностью. Я наблюдал процесс создания народной песни. Я видел, как расцветает Надя, этот белорусский самородок, впитавший в себя таланты поколений.

Думаю, многие тексты сочинила сама Надя, не признаваясь в этом. А если не сочинила, то улучшила, это не вызывает сомнений. Я человек пишущий, мне знакомы муки слова, но я не забуду, как был удивлен, обнаружив подобные муки у телятницы Нади, когда она стала рассказывать сюжеты, напоминающие то песни, то байки, то притчи.

Вот Надин сюжет с гробом. Не пугайтесь! В деревне существует традиция заблаговременно изготавливать себе гроб. Чтобы меньше было забот родственникам. Стоял такой гроб в сарае у стенки, стоял много лет, ему надоело, он приказывает своей хозяйке:

Або сама лягай,
Або кого давай!

И женщина (распевным голосом Нади, автора сюжета, соавтора веков) размышляет, кого же положить в гроб вместо себя, так как ей туда ложиться не хочется:

Положыла б сёстру —
У сёстры малы дety,
Ой, дэ ж іх подеты?
Положыла б брата —
У брата нова хата,
Нэма як умыраты.

Сюжет длинный, с неожиданными поворотами. Женщина все-таки решила лечь в гроб. Но только на три дня. Чтобы обмануть надоедливый гроб и чтобы посмотреть, что будет делать муж, станет ли жениться после ее смерти. Понятное дело, не дождавшись ее похорон, муж начал искать себе молодую жену. От обиды женщина и впрямь умирает. Была комедия, получилась трагедия. Финал:

Ой, стоят свечкі,
Стоят-догорают.
А ў ногах две сыроткі
Плачут-рыдают:
— Ой, тебе, батэньку,
Трэба жонка ў вэночку,
А наша мамочка
У сырому пэсочку.

Рассказав трагикомедию, Надя весело рассмеялась. А затем с авторской озабоченностью указала мне, чтобы написал в блокноте: стоят свечкі ў головцы. Нарисовала "закольцованный образ": у головы покойной — свечки, в ногах — детки. Поражает прямо в сердце!

Мы не заметили, как засиделись допоздна. Я вызвался проводить Надю домой. Вышли на улицу. Стояла глубокая ночь. В деревне не видно ни огонька. Светила луна, мерцали звезды, блестел снег. "Поможы, кавалер!" — сказала Надя, взяла меня под руку. Шла тяжело, задыхалась. Мне было так жалко ее. Вдруг, вопреки своей походке, Надя звонко запела частушку:

Буракоў я накопала,
Самогоночкі нагнала.
Самогонка удаласа,
Ўся брыгада напыласа.
Пыў з колхоза голова,
І з раёна ішы два.

Я невольно пожалел, что со мной нет баяна. Уж мы с тобой, Яковлевна, прошли бы по родной деревне, разбудили бы, чтобы помнила. Надя замолчала, грузно ступала. Ночь была тиха, морозна.

Мой баян находился в Минске, в студенческом общежитии на Парковой магистрали, в комнате 603, из которой нас, всех шестерых обитателей тесной норы, чуть не выгнал на улицу председатель студенческого профкома Валентин Величко, услужливый перед начальством студент-старшекурсник (в будущем он дослужится до главного редактора верноподданнического журнала "Беларуская думка", одной из главных тем которого станет травля публициста Козловича).

Исключение из общежития (и даже из университета) профдеятель мотивировал злостным и систематическим нарушением общественного порядка с нашей стороны. Не так чтобы систематически, но и не слишком редко, после стипендии, мы выпивали в нашей конуре дешевого вина, пели под мой баян песни, в основном популярные, изредка — народные. Мы горланили фольклор потому, что все выросли в деревне, еще не оторвались от корней, писали стихи, чувствовали в себе затухающий ритм народной жизни, интуитивно сопротивлялись.

Пообещав профкому не петь, мы совершили над собой насилие. Нам было не по себе. На уровне подсознания. Наше настроение угадал Владимир

Мулявин, в шестидесятые годы он перенес на эстраду народную песню, продлил ее агонию в глотках "Песняров".

Тогда же уходила из жизни, оставалась в прошедшем времени не только народная песня. Под ножами бульдозеров умирала первозданная белорусская среда. "Мелиорация" изменяла ландшафт, климат, настроение, характер. Ни росы, ни калины, ни песни — в шестидесятых годах двадцатого века все исчезло одновременно, обвально. Оправившись после войны, возомнив себя пупом земли, накопив критическую массу технического могущества, неуважения к личности, равнодушия к культуре и природе, Советский Союз оторвался от человека, от человечества, от истории, от цивилизации. "Развитой социализм" — отвязанный строй.

Человек не знает своего времени, но чувствует. Не каждый человек, а только чуткий. Его переживания превращают время в истину. Почему Яковлевна согласилась продиктовать мне свои песни? Она почувствовала, что останавливается история. Жуткий момент! Чтобы не сойти с ума, нужно петь то, что пели деды и прадеды.

6 марта 1966 года Надежда-История дала мне прощальный концерт, сделала своим соучастником, доверив на хранение народные песни. Никем не востребованные, они лежат в моем архиве. После меня они превратятся в дым, в пар, в гранулы — в зависимости от технологии, которую потомки применят на похоронах времени.

Надя прожила еще четверть века. Без песен. Наедине с болезнью, которая потребовала ампутации ноги. Брат женился, родил троих детей. Теткинскими песнями племянники не заинтересовались, примкнув к белорусскому большинству, у которого душевная связь с прошлым, в том числе с фольклором, отсутствует. Большинство может спеть в ритме "трень-брень" разве что про Яся, который по инерции, заданной "Песнярами", тупо косит "канюшину", в то время как "я плакал от безысходности, мне хотелось умереть, когда в Кремле президент Лукашенко сдавал Беларусь в союзный коридор" (цитата из письма современника в независимую газету конца 1999 года).

Прежде чем стать истиной, время загоняет современника в могилу.

2000